

## Глава 7

### После войны: общество и власть (1945—1952)

#### § 1. Победа: страна и мир

1945 год открыл новую страницу в истории XX в. События на мировой арене после окончания войны развивались столь кардинально и стремительно и привели к таким переменам во всей системе международных отношений, что их можно оценивать как своего рода переворот революционного характера. Геополитическая структура мира в результате поражения Германии и ее союзников приобрела новые центры влияния, мир становился все более биполярным. В расстановке сил Запад—Восток главная роль принадлежала теперь Соединенным Штатам Америки и Советскому Союзу. СССР не только вышел из международной изоляции, но и приобрел статус ведущей мировой державы. США, пострадавшие меньше других участников военного конфликта, после войны стали играть роль «первой скрипки» в международных делах. Это реальное соотношение сил, разделившее мир на два блока, всего за несколько лет получило свое организационное оформление в виде НАТО и Варшавского Договора. Раскол мира, таким образом, можно считать следствием войны. Но таким же следствием войны были процессы совершенно противоположной направленности.

Война изменила лицо мира, нарушила привычное течение судьбы многих народов. Общая угроза сблизила их, отодвинула на второй план прежние споры, сделала ненужными старую вражду и борьбу самолюбий. Мировая катастрофа, не принимающая в расчет доводы в пользу ни одной из общественных систем, в качестве своего парадокса явила миру приоритет общечеловеческих ценностей, идею мирового единства. Сразу после окончания войны эта идея как будто бы начала реализовываться, смягчая противоречия в рядах недавних союзников и умеряя пыл особо активных реваншистов. И даже пришедшие на смену потеплению «холодная война», последующий атомный психоз не могли вовсе сбросить со счетов реальность идеи «Общего Дома». Именно эта идея начала питать процесс, который позднее назовут конвергенцией. И надо признать, что западные политики оказались более восприимчивы к реалиям послевоенного мира, нежели держава-победительница. Едва открыв «окно в Европу», она поспешила опустить «железный занавес», обрекая страну на годы изоляции, а значит, и несвободы. Нашим соотечественникам оставалось только догадываться, что действительно происходило в мире, а затем с горечью удивляться тому, как недавно поверженный противник быстро вставал на ноги, налаживая новую, крепкую жизнь, а победителей по-прежнему держали на полугодном пайке, оправдывая все и вся ссылкой на последствия войны.

Так было. Однако это еще не значит, что так и должно было быть. Победа предоставила России возможность выбора — развиваться вместе с цивилизованным миром или по-прежнему искать «свой» путь в традициях социалистического мессианства.

Вопрос не в том, была ли альтернатива послевоенному развитию страны, а в качестве самих альтернативных тенденций, способных (или не способных) повернуть это развитие.

Сам факт военной победы поднял на небывалую высоту не только международный престиж Советского Союза, но и авторитет режима внутри страны. «Опьяненные победой, зазнавшиеся, — писал в этой связи писатель, фронтовик Ф. Абрамов, — мы решили, что наша система идеальная, (...) и не только не стали улучшать ее, а наоборот, стали еще больше догматизировать». Русский философ Г.П. Федотов, размышляя о влиянии роста авторитета Сталина на развитие внутривластных процессов, тоже приходил к малоутешительному выводу: «Наши предки, общаясь с иностранцами, должны были краснеть за свое самодержавие и свое крепостное право. Если бы они встретили повсеместно такое же рабское отношение к русскому царю, какое проявляют к

Сталину Европа и Америка, им не пришло бы в голову задуматься над недостатками в своем доме».

Поговорка «Победителей не судят!» — не оправдание, но повод для раздумий. Как у В. Некрасова: «Увы! Мы простили Сталину все! Коллективизацию, тридцать седьмые годы, расправу с соратниками, первые дни поражения. И он, конечно же, понял теперь всю силу народа, поверившего в его гений, понял, что нельзя его больше обманывать, что только суровой правдой в глаза можно все объединить, что к потокам крови прошлого, не военного, а довоенного, возврата нет. И мы, интеллигентные мальчишки, ставшие солдатами, поверили в этот миф и с чистой душой, открытым сердцем вступили в партию Ленина—Сталина». Май 1945 г. — пик авторитета Сталина, имя которого в сознании большинства современников не только сливалось с победой, но и сам он воспринимался как чуть ли не носитель божественного промысла. Военный корреспондент А. Авдеенко вспоминал, как он пришел на парад Победы вместе с маленьким сыном: «Беру сына на руки, поднимаю. Мавзолей в десяти метрах или чуть больше. Трибуна и все, кто на ней, как на ладони. «Видишь?» — «Ага. Под дождем стоит. Старенький. Не промокнет?» — «Закаленная сталь не боится дождя». — «Значит, стальной человек? Потому и называется Сталин?» — «Человек обыкновенный. Воля стальная». — «Папа, почему он не радуется, он на кого-то рассердился?» — «На Бога, наверное. Не послал нам хорошую погоду». — «А почему Сталин не приказал Богу сделать хорошую погоду?..»

Сталин-человек к тому моменту уже настолько растворился в имидже вождя, что остался по сути один этот имидж — живой идол. Массовое сознание, наделившее идола, как и положено, мистической силой, одновременно освятило все, что с этим идолом идентифицировалось — будь то авторитет системы или авторитет идеи, на которой держалась система. Такова была противоречивая роль Победы, которая принесла с собой дух свободы, но наряду с этим создала психологические механизмы, блокирующие дальнейшее развитие этого духа, механизмы, которые стали консерваторами позитивных общественных процессов, зародившихся в особой духовной атмосфере военных лет.

«Сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России, — писал в 1945 г. Г.П. Федотов. — Не в том, конечно, смысле, существует ли она в СССР, — об этом могут задумываться только иностранцы, и то слишком невежественные. Но в том, возможно ли ее возрождение там после победоносной войны, мы думаем все сейчас — и искренние демократы, и полуфашистские попутчики». Задавая вопросом «возможно ли?», ни Федотов, ни другие трезвомыслящие умы внутри страны и за ее пределами не давали на него однозначного ответа и не представляли себе путь демократических изменений в СССР в виде одномоментного поворота. Просто они расценивали послевоенную ситуацию как шанс для развития подобного поворота, хотя и считали его небольшим.

## § 2. Общество, вышедшее из войны

Война, прошедшая по территории страны, оставила тяжелое наследие. Чрезвычайная государственная комиссия, занятая исчислением материального ущерба, нанесенного СССР в ходе военных действий и в результате расходов на войну, оценила его в 2569 млрд. руб. Было подсчитано количество разрушенных городов и сел, промышленных предприятий и железнодорожных мостов, определены потери в выплавке чугуна и стали, размеры сокращения автомобильного парка и поголовья скота. Однако нигде не сообщалось о количестве человеческих потерь (если не считать обнародованную Сталиным в 1946 г. цифру в 7 млн. человек). О величине людских потерь Советского Союза во второй мировой войне до сих пор ведутся дискуссии среди историков. Последние исследования основаны на методе демографического баланса. Людские потери, оцениваемые согласно этому методу, включают: всех погибших в результате военных и иных действий противника; умерших в результате повышения уровня смертности в период войны как в тылу, так и в прифронтовой полосе и на оккупированной

территории; тех людей из населения СССР на 22 июня 1941 г., которые покинули территорию СССР в период войны и не вернулись до ее конца (не включая военнослужащих, дислоцированных за пределами СССР). Эти потери в период Великой Отечественной войны составляют 26,6 млн. человек.

В общем объеме потерь 76%, т.е. около 20 млн. человек, приходится на мужчин, из них больше других пострадали мужчины, родившиеся в 1901—1931 гг., т.е. наиболее дееспособная часть мужского населения. Уже одно это обстоятельство свидетельствовало о том, что послевоенное общество ожидают серьезные демографические проблемы. В 1940 г. в Советском Союзе на 100,3 млн. женщин приходилось 92,3 млн. мужчин, источником дисбаланса в данном случае выступали старшие возрастные группы (начиная с 60 лет), что можно считать естественным. В 1946 г. на 96,2 млн. женщин приходилось 74,4 млн. мужчин, и в отличие от предвоенного времени превышение численности женщин над численностью мужчин начиналось уже с поколения 20—24-летних. В деревне демографическая ситуация складывалась еще более неблагоприятно: если в 1940 г. соотношение женщин и мужчин в колхозах было примерно 1,1:1, то в 1945 г. — 2,7:1.

Послевоенное советское общество было преимущественно женским. Это создавало серьезные проблемы — не только демографические, но и психологические, перераставшие в проблему личной неустроенности, женского одиночества. Послевоенная «безотцовщина» и порождаемые ею детская беспризорность и преступность родом из того же источника. И тем не менее, несмотря на все лишения и потери, именно благодаря женскому началу послевоенное общество оказалось удивительно жизнеспособным. Относительно высокий уровень рождаемости в стране, который рос в течение 1946—1949 гг. (за исключением 1948 г.), а затем стабилизировался, позволил в конце концов, если не исправить порожденные войной демографические перекосы, то восполнить демографические потери войны. Уже к началу 1953 г. численность населения СССР достигла уровня 1940 г. (в послевоенных границах, т.е. включая население территорий, присоединенных к СССР в 1945 г.).

Общество, вышедшее из войны, отличается от общества, находящегося в «нормальном» состоянии, не только своей демографической структурой, но и социальным составом. Его облик определяют не традиционные категории населения (например, городские и сельские жители, рабочие промышленных предприятий и служащие, молодежь и пенсионеры и т.д.), а социумы, рожденные военным временем. В этом смысле лицом послевоенного общества был прежде всего «человек в гимнастерке». К концу войны армия Советского Союза насчитывала более 11 млн. человек. Согласно закону о демобилизации 23 июня 1945 г. из армии началось увольнение военнослужащих 13 старших возрастов, а в 1948 г. процесс демобилизации в основном завершился. Всего из армии было демобилизовано 8,5 млн. человек.

Проблема перехода от войны к миру, которая так или иначе стояла перед каждым человеком, возможно, в наибольшей степени касалась фронтовиков. Тяжесть потерь, материальные лишения, переживаемые за малым исключением всеми, для фронтовиков усугублялись дополнительными трудностями психологического характера, связанными с переключением на новые задачи мирного обустройства. Поэтому демобилизация, о которой так мечталось на фронте, поставила перед многими серьезные проблемы. Прежде всего для самых молодых (1924—1927 гг. рождения), т.е. тех, кто ушел на фронт со школьной скамьи, не успев получить профессию, обрести устойчивый жизненный статус. Их единственным делом стала война, единственным умением — способность держать оружие и воевать. Кроме того, это поколение больше других пострадало численно, особенно в первый военный год. Вообще война до известной степени размывала возрастные границы, и несколько поколений соединились фактически в одно — «поколение победителей», создав таким образом новый социум, объединенный общностью проблем, настроений, желаний, стремлений. Конечно, эта общность была относительной (на войне тоже не было и не могло быть абсолютного единства воевавших), но дух фронтового

братства, принесенный с войны, еще долго существовал как важный фактор, влияющий на всю послевоенную атмосферу.

Часто, особенно в публицистике, фронтовиков называют «неодекабристами», имея в виду тот потенциал свободы, который несли в себе победители. Потенциал этот, как известно, не был реализован — во всяком случае напрямую — в первые послевоенные годы, а был задавлен господствующим режимом. При этом почти никогда не возникает вопрос: а были ли фронтовики вообще способны реализовать себя как активную силу общественных перемен именно в первые годы после окончания войны? Вопрос этот представляется весьма серьезным не только для «измерения» запаса прочности потенциала свободы, но и для установления момента, когда возможные прогрессивные реформы могли бы опереться на достаточно широкую общественную поддержку. Война сама по себе не формирует политических позиций и тем более не создает организационных форм для развития политической деятельности хотя бы потому, что у нее вообще другие задачи. Война влияет больше на изменение основ духовной жизни, дает импульс к перестройке мышления, т.е. создает нравственно-психологический задел для будущей деятельности. Вопрос о том, как он будет реализован, уже зависит от конкретных условий послевоенных лет. Однако следует признать, что первые годы после окончания войны — не самое благоприятное время для воплощения идей, так или иначе направленных против существующей власти. Невозможность открытого столкновения можно объяснить действием следующих факторов.

Во-первых, сам характер войны — отечественной, освободительной, справедливой — предполагает единство общества (и народа, и власти) в решении общей национальной задачи — противостояния врагу, поэтому и победа в такой войне воспринимается как общая победа. Спаянная единым интересом, единой задачей выживания, общность народ — власть начинает постепенно раскалываться, по мере налаживания мирной жизни, формирования комплекса «обманутых надежд» снизу и обозначения первых признаков кризиса верхов.

Во-вторых, необходимо учитывать фактор психологического перенапряжения людей, четыре года проведенных в окопах и нуждающихся в психологической разгрузке, в освобождении от экстремальности последних лет. Люди, уставшие от войны, естественно стремились к созиданию, к миру. Мир на тот момент был высшей ценностью, исключаяющей насилие в какой бы то ни было форме. «Великая бездомность миллионов людей, именуемая войной, надоедает», — писал с фронта Э. Казакевич, подчеркивая, что война «надоедает ... не опасностью и риском, а именно этой бездомностью своей». В.К. Кетлинская, выступая в мае 1945 г. перед коллегами-писателями, призывала во всей сложности судеб и отношений, созданных войной, видеть «не только гордость победителя, но и большое горе пострадавшего, много пережившего народа».

После войны неизбежно наступает период «залечивания ран» — и физических, и душевных, — сложный, болезненный период возвращения к мирной жизни, в которой даже обычные бытовые проблемы, например проблема дома, семьи (для многих за годы войны утраченной), подчас становятся в разряд неразрешимых. Ведущей психологической установкой на тот момент для фронтовиков была задача приспособиться к мирной жизни, вписаться в нее, научиться жить по-новому. «Всем как-то хотелось наладить свою жизнь, — вспоминал В. Кондратьев. — Ведь надо же было жить. Кто-то женился. Кто-то вступил в партию... Надо было приспособливаться к этой жизни. Других вариантов мы не знали...» Возможно, у кого-то были «варианты», но для большинства фронтовиков необходимость включенности в мирную жизнь имела на тот момент времени исключительно положительную заданность: обстоятельства принимались, такими, как они есть, как данность, в которой предстояло жить.

В-третьих, восприятие окружающего порядка как данности, формирующее в целом лояльное отношение к режиму, само по себе не означало, что всеми фронтовиками без исключения этот порядок рассматривался как идеальный или во всяком случае

справедливый. И практика предвоенных лет, и опыт войны, и наблюдения во время заграничного похода заставляли размышлять, ставя под сомнение если не справедливость режима как такового, то его отдельные реалии. Однако между фактом неудовлетворенности внутренним строем жизни и действием, направленным на изменение этого строя, не всегда существует прямая связь. Для установления такой связи необходимо промежуточное звено, содержащее программную конкретизацию будущих действий: замысел (что имеется в виду получить в результате перемен) и механизмы осуществления этого замысла (как, каким способом могут быть достигнуты первоначально заявленные цели). Этого промежуточного, по сути решающего, программного звена как раз и не хватало. «Мы многое не принимали в системе, но не могли даже представить какой-либо другой», — такое, на первый взгляд, неожиданное признание сделал В. Кондратьев. В нем — отражение характерного противоречия послевоенных лет, раскалывающего сознание людей ощущением несправедливости происходящего и безысходностью попыток этот порядок изменить, поскольку он воспринимался как неизменяемая данность, не зависящая от собственной воли, стремлений и желаний.

Подобные настроения были характерны не только для фронтовиков. Их вполне могли бы разделить, например, и те, к кому власть относилась, возможно, с наибольшим недоверием, — наши соотечественники, которые во время войны по своей или чужой воле оказались за пределами страны и теперь хотели вернуться обратно (или вынуждены были это сделать в принудительном порядке). Речь шла о нескольких миллионах человек, поэтому репатрианты для послевоенного общества — такое же характерное явление, как и фронтовики.

По данным Управления уполномоченного СНК СССР по репатриации на 1 февраля 1946 г. в Советский Союз с территории Германии и других государств было репатрировано всего 5,2 млн. человек, из них 1,8 млн. бывших военнопленных и 3,4 млн. гражданского населения. Все репатрианты, независимо от того, принадлежали они к военнопленным или гражданскому населению, должны были пройти проверочно-фильтрационный лагерь, где в основном и решалась их дальнейшая судьба. По возвращении на родину многие из них столкнулись с серьезными проблемами, прежде всего бытовыми: в ожидании решения своей дальнейшей судьбы им приходилось по нескольку месяцев жить в непригодных для жилья помещениях, во временных палатках (в том числе в условиях поздней осени и наступающей зимы). Инспекторской проверкой ЦК ВКП(б) было установлено, что административные органы далеко не всегда считаются с желанием репатрируемых и направляют их в другие районы по своему усмотрению. Подобные решения репатрианты воспринимали как высылку, что в общем было недалеко от истины: несмотря на заверения официальных инстанций в том, что «основная масса советских людей, находившихся в немецком рабстве, осталась верной Советской Родине», отношение к репатриантам, особенно местных властей, было скорее негативным и почти всегда подозрительным. «Мы им тут конрреволюцию разводить не даем, сразу всех мобилизуем и отправляем на плоты, на сплав леса», — делился методами своей работы районный начальник.

Такое отношение соответствующим образом сказывалось на настроениях репатриантов. «Я не чувствую за собой вины перед родиной, — говорил один из них, — но я не уверен, что ко мне не будут применены репрессии. Здесь на пункте [проверочно-фильтрационном. — Е.З.] к нам относятся как к лагерникам, все мы находимся под стражей. Куда меня отправят — не знаю». Неясный правовой статус репатрированных, неизвестность будущего рождали сомнения и вопросы в их среде: «Будем ли мы иметь право голоса?», «Правда ли, что мы будем работать под конвоем?», «Будут ли репатрированных принимать в учебные заведения?» и др.

Стремление изолировать репатрированных, несмотря на официальные заявления властей о лояльном отношении к этой категории граждан, в реальной практике,

несомненно, имело место. Это объяснялось не только общим недоверием ко всем, кто на какое-то время вышел из-под контроля советской идеологической машины, но и опасениями властей, что люди, побывавшие на Западе, могут стать для своих соотечественников источником непрофильтрованной информации о жизни за пределами СССР. И информация такого рода от репатриантов действительно поступала: вернувшись на родину, они рассказывали о зажиточной жизни немецких крестьян, о чистых улицах и аккуратных домах. Эти рассказы резко контрастировали с советской действительностью и были совсем не похожи на удручающие картинки западной жизни, тиражируемые официальной пропагандой. Новое знание представляло для режима реальную угрозу, но его, это знание, уже нельзя было просто перечеркнуть, изолировав от общества всех, кто побывал по ту сторону государственной границы. Тогда пришлось бы помимо репатриированных изолировать еще и всю армию.

Для послевоенного общества, как для любого общества, переходящего из одного состояния в другое, характерна большая мобильность населения. После окончания войны и связанных с ней перемещений населения начинается процесс возвратного движения: люди возвращаются к своему дому, семье или, по крайней мере, на прежнее место жительства. Эти возвратные миграционные потоки распределялись по двум основным направлениям: с запада на восток (демобилизация и репатриация) и с востока на запад (резэвакуация).

Среди населения, эвакуированного в восточные районы страны, процесс резэвакуации начался еще в военное время и становился шире по мере того, как война уходила дальше на запад. Но с окончанием военных действий стремление к возвращению в родные места стало массовым, однако не всегда выполнимым. Администрация эвакуированных и размещенных в восточных районах предприятий принимала специальные меры, закрепляющие рабочих на заводах. Подобные меры вызывали естественное недовольство людей: «Рабочие все свои силы отдали на разгром врага и хотели вернуться в родные края, — говорилось в одном из писем, — а теперь вышло так, что нас обманули, вывезли из Ленинграда и хотят оставить в Сибири. Если только так получится, тогда мы все, рабочие, должны сказать, что наше правительство предало нас и наш труд! Пусть они подумают, с каким настроением остались рабочие!»

В течение августа—сентября 1945 г. на эвакуированных заводах в Новосибирске, Омске и Казани были отмечены волнения рабочих, а также массовые случаи самовольной резэвакуации. Люди, покинувшие рабочие места, не дожидаясь специального решения по этому вопросу, объявлялись дезертирами и привлекались к суду. Общество, вышедшее из войны, во многом продолжало жить по законам военного времени. Согласно этим законам личный интерес и личные потребности человека всегда отступали на второй план перед тем, что называли государственным интересом, или производственной необходимостью.

### § 3. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции развития

Влияние войны на экономику страны невозможно оценить только с точки зрения утраченного. Масштабы человеческих потерь и размер материального ущерба действительно поставили экономику перед проблемой нехватки рабочих рук и перед необходимостью восстанавливать разрушенную производственную базу и инфраструктуру. Со сходными проблемами, хотя и не в таких масштабах, столкнулись практически все страны, по территории которых прошла война. Однако, оценивая возможности послевоенной экономики, специалисты заметили, что страны не только многое потеряли, но и в известном смысле выиграли от войны. От разрушений в большей степени пострадали коммуникации, жилища и другая недвижимость, ущерб же, нанесенный производственным мощностям, оборудованию, был сравнительно меньшим. Что же касается инвестиций, вложенных в производство военной продукции, они существенно выросли во всех странах. Кроме того, работа над новыми образцами

вооружений способствовала развитию научной мысли, а большинство научных идей, рожденных в секретных лабораториях, с успехом могли быть использованы и в мирной экономике. Экономический подъем, который пережили в 50-е гг. все индустриальные страны, включая СССР, — одно из следствий использования этого технического и научного потенциала.

Наряду со структурными сдвигами в экономике, обусловленными преимущественным развитием отраслей военно-промышленного комплекса, в СССР существенно изменилось размещение промышленной базы. В результате эвакуации на востоке страны был создан новый промышленный комплекс, его основу составили оборонные предприятия, что предопределило в будущем роль этого региона в размещении и развитии ВПК.

Успешное восстановление экономики после войны зависело от решения трех основных задач: собственно реконструкции (восстановления разрушенного), реконверсии (перевода военного производства на выпуск гражданской продукции) и оздоровления финансовой ситуации. Одним из наиболее спорных вопросов, который активно дискутируется в научной и популярной литературе, является вопрос об источниках послевоенного восстановления СССР и главным образом о роли внешних источников, обеспечивших послевоенную реконструкцию экономики страны. Точных данных об объемах внешних поступлений (в денежном и натуральном выражении) до сих пор нет, однако даже на основании косвенных расчетов, сделанных специалистами, следует признать, что в послевоенном восстановлении советской экономики поступления извне — поставки по ленд-лизу и репарации с побежденных стран — играли существенную роль. Основным объемом этих поставок составили оборудование, технические материалы и документация.

О размере материальной помощи, полученной СССР по ленд-лизу, можно судить по объему импорта, который в 1945 г., согласно официальным данным, составил 14 805 млн. руб. Поставки, например, паровозов по ленд-лизу еще в ходе войны позволили почти полностью покрыть их потери, а производственные возможности морского, автомобильного и воздушного транспорта по этой же причине превысили предвоенный уровень.

Более существенную роль в структуре внешних источников послевоенного восстановления сыграли репарации, полученные СССР из Германии, а также Румынии, Венгрии, Финляндии и Маньчжурии. По расчетам Г.И. Ханина, в четвертой пятилетке (1946—1950) репарационные поставки обеспечивали примерно 50% поставок оборудования для объектов капитального строительства в промышленности.

Демонтажом и вывозом оборудования с территории Восточной Германии, Польши и других государств занимались практически все промышленные наркоматы. Так, например, в распоряжение Наркомата путей сообщения на 1 января 1946 г. поступило 20598 единиц различного оборудования, из них 6519 металлообрабатывающего. Из Германии вывозились передовые технологические линии и целые производства, развитие которых в СССР до войны отставало от мирового уровня либо находилось в зачаточном состоянии (оптика, радиотехника, электротехника и др.). Для нужд Наркомата электропромышленности были демонтированы и поставлены в СССР заводы известных немецких фирм «Телефункен», «Лоренц», «Осрам», «Кох и Штерцель», «Радио-Менде» и др. Вместе с оборудованием вывозилась и техническая документация. С помощью этой документации удалось наладить в Советском Союзе производство многих видов отечественной продукции. «Охота за мозгами», начавшаяся еще во время войны, в которой участвовали в равной мере как СССР, так и его союзники — американцы и англичане, тоже сыграла свою роль в обеспечении научного потенциала конструкторских бюро и лабораторий.

Вместе с тем констатацией значительной доли внешних поступлений в структуре источников обеспечения послевоенного восстановления экономики вопрос не

исчерпывался. Важны не только абсолютные цифры поставок, но и то, насколько эффективно они применялись и на развитие каких отраслей отечественной экономики направлялись. Что же касается эффективности использования полученного по ремонтам оборудования, то в ряде случаев вследствие борьбы различных ведомственных интересов, а иногда и элементарной некомпетентности чиновников она была невысока. Уникальные технологические линии растаскивались по нескольким предприятиям, часть оборудования применялась вообще не по назначению. Создается впечатление, что вывезено было гораздо больше, чем советская промышленность оказалась в состоянии «переварить». Не хватало складских помещений, оборудование хранилось на открытых площадках, ржавело и приходило в негодность. Правда, подобная бесхозяйственность чаще встречалась на предприятиях, выпускающих гражданскую продукцию. Военные заводы, а тем более производства, работающие на развитие приоритетных направлений ВПК, в результате ремонтных поставок значительно усилили свой потенциал. Именно в отраслях военно-промышленного комплекса отдача от ремонтов была наибольшей, эффективность их использования в отраслях гражданского ведомства была гораздо скромнее. Полагать же, что экономика Советского Союза выжила главным образом благодаря источникам внешних поступлений, вообще нет оснований. Английский историк А. Ноув в этой связи отмечал, что успехи восстановления зависели прежде всего от собственных усилий и упорства советских людей, хотя при этом нельзя отрицать значения ремонтов.

На послевоенное развитие советской экономики сильное давление оказывал международный политический контекст. Обретение статуса великой державы и неизбежное в этом случае противоборство с США, начавшаяся борьба за стратегическое превосходство поставили отечественный военно-промышленный комплекс в исключительное положение которым он не обладал ни до, ни даже во время войны. Реконверсия экономики действительно проводилась, но отрасли работающие на «войну», не прекратили свое развитие они лишь модифицировались в соответствии с новыми политическими и научно-техническими задачами. Развитие ВПК требовало львиной доли государственного бюджета; включившись в соревнование с США, Советский Союз вынужден был тратить огромные средства на осуществление атомного проекта а впоследствии на программу освоения космоса.

В этой области удалось добиться существенных достижений: первый ядерный реактор был введен в эксплуатацию уже в 1947 г., а летом 1949 г. состоялось испытание советской атомной бомбы. На освоение «мирного атома» потребовалось гораздо больше времени (первая атомная электростанция была пущена в 1954 г.).

Прорыв на приоритетных направлениях научно-технического прогресса, сопровождаемый концентрацией научной мысли в отраслях ВПК, не мог компенсировать отставания в других секторах советской экономики, особенно в сельском хозяйстве и промышленности группы «Б» (производство предметов потребления). По данным ЦСУ СССР валовая продукция промышленности составила в 1945 г 92% к уровню довоенного 1940 г., причем по группе «А» — 112% а по группе «Б»—лишь 59%. Это значит, что основной объем промышленной продукции приходился в тот период на отрасли военного комплекса.

Средние цифры скрывали большой разрыв в исходном уровне послевоенного развития разных регионов страны: промышленность районов, подвергшихся оккупации, произвела в 1945 г. только 30% довоенного объема своей продукции, а промышленность ряда восточных регионов благодаря работе эвакуированных предприятий, напротив, превзошла свои довоенный уровень.

Перевод предприятий на выпуск гражданской продукции и связанная с этим их перепрофилизация привели уже в следующем 1946 г. к существенному падению темпов роста промышленной продукции, объем которой составил только 77% к уровню 1940 г. Чтобы восстановить довоенный объем промышленного производства, проводя



одновременно реконверсию, вышедшей из войны экономике потребовалось три года (в 1948 г. валовая продукция промышленности составила 118% к уровню 1940 г.).

Положение в аграрной сфере было далеко не столь оптимистичным. В 1945 г. посевные площади составили лишь 75%, а валовый сбор зерновых культур (амбарный урожай) был вдвое меньше, чем в 1940 г. Программу развития сельского хозяйства, предусмотренную плановыми заданиями четвертой пятилетки, выполнить не удалось; лишь в 1952 г. производство зерна в стране достигло довоенного уровня. Неудачи в аграрной сфере объяснялись между тем не только следствиями войны; причины этих неудач надо искать и в самой концептуальной направленности политики послевоенного восстановления. Стержнем этой политики была идея первоочередного восстановления тяжелой промышленности. Сельскому хозяйству, а также промышленным отраслям, работающим на потребление, отводилась явно подчиненная роль.

При определении приоритетов послевоенного экономического развития, при разработке четвертого пятилетнего плана — плана восстановления — руководство страны фактически вернулось к довоенной модели развития экономики и довоенным методам проведения экономической политики. Это значит, что развитие промышленности, в первую очередь тяжелой, должно было осуществляться не только в ущерб интересам аграрной экономики и сферы потребления (т.е. в результате соответствующего распределения бюджетных средств), но и во многом за их счет, так как продолжалась предвоенная политика «перекачки» средств из аграрного сектора в промышленный (отсюда, например, беспрецедентное повышение налогов на крестьянство в послевоенный период).

Послевоенное восстановление экономики требовало оздоровления финансовой системы. Расстроенные финансы и прогрессирующая инфляция — проблемы, с которыми пришлось столкнуться практически всем воевавшим странам. Поэтому в течение 1944—1948 гг. в ряде европейских стран были проведены денежные реформы: сначала в Бельгии, затем в Голландии, Франции, Великобритании, Германии, Австрии и др. Денежные реформы способствовали постепенному отказу от введенной во время войны нормированной (карточной) системы снабжения населения. Вместе с тем мероприятия по борьбе с инфляцией (денежная реформа) и отмена карточек не обязательно совпадали во времени: в Великобритании, например, карточная система просуществовала до 1954 г.

Советское правительство в своих планах проведения денежной реформы и отмены карточек (которые стали своеобразным символом военного времени) стремилось опередить ведущие европейские страны, демонстрируя тем самым не только возможности державы-победительницы, но и «преимущества социализма». Первоначально отмену карточек намечалось провести в 1946 г. Однако низкий уровень жизни населения и продовольственный кризис 1946 г., причиной которого стала засуха, вынудили советское руководство несколько скорректировать прежние планы и перенести отмену карточек на конец 1947 г. Одновременно с отменой карточек должна была проводиться денежная реформа.

Обмен денег начался 15 декабря 1947 г., старые деньги обменивались на новые в соотношении 10:1. Льготному обмену подлежали вклады в сберкассах (до трех тысяч рублей — в соотношении один к одному). Пропаганда представляла реформу как главный удар по «спекулятивным элементам», на самом деле именно эта категория, т.е. дельцы теневой экономики, успели обезопасить свою наличность, своевременно разукрупнив свои вклады или переведя наличность в золото, драгоценности и т.д. Пострадали в результате обмена денег прежде всего люди, которые не хранили сбережений в сберкассах, но имели наличные деньги: среди них подавляющее большинство составляли не «спекулянты», а рабочие высоких разрядов, техническая интеллигенция, занятые во вредных производствах, сельском хозяйстве и др. Вместе с тем, несмотря на издержки, реформа 1947 г. способствовала стабилизации финансовой ситуации в стране.

Менее подготовленной оказалась отмена карточной системы. Руководство страны приняло решение об отмене карточек, когда существующий объем продовольственных и промышленных товаров не мог удовлетворить свободного спроса населения. Только в Москве и Ленинграде специальным решением правительства к моменту перехода к торговле без карточек были созданы необходимые товарные резервы. В других местах уже в первые дни и месяцы после отмены карточек люди столкнулись с нехваткой самых необходимых товаров: хлеба, круп, масла, сахара и др. В результате в ряде регионов стихийно стала восстанавливаться нормированная система снабжения — в виде спецпропусков, заборных книжек, карточек.

Европейские государства в решении вопроса финансового оздоровления своей экономики опирались не только на собственные ресурсы. Важную роль в обеспечении послевоенного восстановления Европы сыграла финансовая помощь США, предоставляемая в рамках «плана Маршалла». Воспользоваться американскими кредитами мог и СССР, однако это не было сделано по политическим соображениям: принять «план Маршалла» означало для Сталина утратить контроль над странами Восточной Европы, что было равносильно разрушению сложившегося советского блока. Подобную цену за финансовую помощь советское руководство платить не собиралось. Восстановление страны осуществлялось за счет внутренних источников финансирования. Ограниченность собственных финансов еще больше обостряла проблему выбора приоритетов: если промышленность в основном справлялась с программой восстановления, то уровень жизни людей изменялся не столь заметно. Послевоенная жизнь медленно входила в мирное русло.

#### § 4. Жизнь после войны: ожидания и реальность

«Весной сорок пятого люди — не без основания — считали себя гигантами», — делился своими ощущениями Э. Казакевич. С этим настроением фронтовики вошли в мирную жизнь, оставив — как им тогда казалось — за порогом войны самое страшное и тяжелое. Однако действительность оказалась сложнее, совсем не такой, какой она виделась из окопа. «В армии мы часто говорили о том, что будет после войны, — вспоминал журналист Б. Галин, — как мы будем жить на другой день после победы, — и чем ближе было окончание войны, тем больше мы об этом думали, и многое нам рисовалось в радужном свете. Мы не всегда представляли себе размер разрушений, масштабы работ, которые придется провести, чтобы залечить нанесенные немцами раны». «Жизнь после войны казалась праздником, для начала которого нужно только одно — последний выстрел», — как бы продолжал эту мысль К. Симонов. Иных представлений трудно было ждать от людей, четыре года находившихся под психологическим прессом чрезвычайной военной обстановки, сплошь и рядом состоявшей из нестандартных ситуаций. Вполне понятно, что «нормальная жизнь, где можно «просто жить», не подвергаясь ежеминутной опасности, в военное время виделась как подарок судьбы. Война в сознании людей — фронтовиков и тех, кто находился в тылу, привнесла переоценку и довоенного периода, до известной степени идеализировав его. Испытав на себе лишения военных лет, люди — часто подсознательно — скорректировали и память о прошедшем мирном времени, сохранив хорошее и забыв о плохом. Желание вернуть утраченное подсказывало самый простой ответ на вопрос «как жить после войны?» — «как до войны».

«Жизнь-праздник», «жизнь-сказка» — с помощью этого образа в массовом сознании моделировалась и особая концепция послевоенной жизни — без противоречий, без напряжения, стимулом развития которой был фактически только один фактор — надежда. И такая жизнь существовала, но только в кино и книгах. Интересный факт: за время войны и в первые послевоенные годы в библиотеках отмечался рост спроса на литературу приключенческого жанра и даже сказки. С одной стороны, подобный интерес объясняется изменением возрастного состава работающих и пользующихся

библиотеками; за время войны на производство пришли подростки (на отдельных предприятиях они составляли от 50 до 70% занятых). После войны читательскую аудиторию библиотеки приключений пополнили молодые фронтовики, процесс интеллектуального роста которых прервала война и которые в силу этого после фронта вернулись к юношескому кругу чтения. Но есть и другая сторона этого вопроса: рост интереса к такого рода литературе и кинематографу был своеобразной реакцией отторжения той жестокой реальности, которую несла с собой война. Нужна была компенсация психологическим перегрузкам. Поэтому еще на войне можно было наблюдать, свидетельствует, например, фронтовик М. Абдулин, — «страшную жажду всего, что не связано с войной. Нравился немудрящий фильм с танцами и весельем, приезд артистов на фронт, юмор». Жажда мира, подкрепленная верой, что жизнь после войны быстро будет меняться к лучшему, сохранялась на протяжении трех—пяти послевоенных лет.

Огромным успехом у зрителей пользовался фильм «Кубанские казаки» — самый популярный из всех послевоенных кинолент. Сейчас он подвергается резкой и во многом справедливой критике за несоответствие реальности. Но критика подчас забывает, что у фильма «Кубанские казаки» есть своя правда, что этот фильм-сказка несет весьма серьезную информацию ментального характера, передающую дух того времени. Журналист Т. Архангельская вспоминает интервью с одной из участниц съемок фильма; она рассказала, как голодны были эти нарядные парни и девушки, на экране весело рассматривавшие муляжи фруктов, изобилие из папье-маше, а потом добавила: «Мы верили, что так и будет и что всего много будет — и велосипедов, и седел, и чего захочешь. И нам так нужно было, чтобы все было нарядно и чтобы песни пели».

Надежда на лучшее и питаемый ею оптимизм задавали ударный ритм началу послевоенной жизни, создавая особую — послевоенную — общественную атмосферу. «Все мое поколение, за исключением разве некоторых, переживало... трудности, — вспоминал то время известный строитель В.П. Сериков. — Но духом не падали. Главное — война была позади... Была радость труда, победы, дух соревнования». Эмоциональный подъем народа, стремление приблизить своим трудом по-настоящему мирную жизнь позволили довольно быстро решить основные задачи восстановления. Однако этот настрой, несмотря на его огромную созидательную силу, нес в себе и тенденцию иного рода: психологическая установка на относительно безболезненный переход к миру («Самое тяжелое — позади!»), восприятие этого процесса как в общем непротиворечивого, чем дальше, тем больше вступали в конфликт с реальной действительностью, которая не спешила превращаться в «жизнь-сказку».

Проводимые в 1945—1946 гг. инспекторские поездки ЦК ВКП(б) зафиксировали целый ряд «ненормальностей» в материально-бытовых условиях жизни людей, прежде всего жителей промышленных городов и рабочих поселков. В декабре 1945 г. группа Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) провела такое инспектирование предприятий угольной промышленности Щекинского района Тульской области. Результаты обследования оказались весьма неутешительными. Условия жизни рабочих были признаны «очень тяжелыми», особенно плохо жили репатриированные и мобилизованные рабочие. Многие из них не имели нательного белья, а если оно было, то ветхое и грязное. Рабочие месяцами не получали мыла, в общежитиях — большая теснота и скученность, рабочие спали на деревянных топчанах или двухъярусных нарах (за эти топчаны администрация вычитала 48 руб. из ежемесячного заработка рабочих, что составляло его десятую часть). Рабочие получали в день 1200 г хлеба, однако несмотря на достаточность нормы, хлеб был плохого качества: не хватало масла и поэтому хлебные формы смазывали нефтепродуктами.

Многочисленные сигналы с мест свидетельствовали о том, что факты подобного рода не единичны. Группы рабочих из Пензы и Кузнецка обращались с письмами к В.М. Молотову, М.И. Калинину, А.И. Микояну, в которых содержались жалобы на тяжелые

материально-бытовые условия, отсутствие большинства необходимых продуктов и товаров. По этим письмам из Москвы выезжала бригада Наркомата, признавшая по результатам проверки жалобы рабочих обоснованными. В Нижнем Ломове Пензенской области рабочие завода № 255 выступали против задержки хлебных карточек, а рабочие фанерного завода и спичечной фабрики жаловались на длительные задержки заработной платы. Тяжелые условия труда после окончания войны сохранялись на реконструируемых предприятиях: приходилось работать и под открытым небом, и, если дело было зимой, по колено в снегу. Помещения часто не освещались и не отапливались. В зимнее время положение усугублялось еще и тем, что людям часто нечего было надеть. По этой причине, например, секретари ряда обкомов Сибири обратились в ЦК ВКП(б) с беспрецедентной просьбой: разрешить им не проводить 7 ноября 1946 г. демонстрацию трудящихся, мотивируя свою просьбу тем, что «население недостаточно обеспечено одеждой».

Сложная ситуация складывалась после войны и в деревне. Если город не так страдал от недостатка рабочих рук (там главная проблема заключалась в налаживании труда и быта уже имеющихся рабочих), то колхозная деревня помимо материальных лишений испытывала острый недостаток в людях. Все наличное население колхозов (с учетом возвратившихся по демобилизации) к концу 1945 г. уменьшилось на 15% по сравнению с 1940 г., а число трудоспособных — на 32,5%. Особенно заметно сократилось количество трудоспособных мужчин (из 16,9 млн. в 1940 г. их к началу 1946 г. осталось 6,5 млн.). По сравнению с предвоенным временем понизился и уровень материальной обеспеченности колхозников: если в 1940 г. для распределения по трудодням выделялось в среднем по стране около 20% зерновых и более 40% денежных доходов колхозов, то в 1945 г. эти показатели сократились соответственно до 14 и 29%. Оплата в ряде хозяйств выглядела чисто символической, а значит, колхозники, как и до войны, нередко работали «за палочки». Настоящим бедствием для деревни стала засуха 1946 г., охватившая большую часть европейской территории России, Украину, Молдавию. Правительство использовало засуху для применения жестких мер продрозверстки, заставляя колхозы и совхозы сдавать государству 52% урожая, т.е. больше, чем в годы войны. Изымалось семенное и продовольственное зерно, включая предназначенное к выдаче по трудодням. Собранный таким образом хлеб направлялся в города, жители деревни в областях, пострадавших от неурожая, были обречены на массовый голод. Точных данных о количестве жертв голода 1946—1947 гг. нет, поскольку медицинская статистика тщательно скрывала истинную причину возросшей за это время смертности (например, вместо дистрофии ставились другие диагнозы). Особенно высока была детская смертность. В охваченных голодом районах РСФСР, Украины, Молдавии, население которых насчитывало примерно 20 млн. человек, в 1947 г. по сравнению с 1946 г. за счет бегства в другие места и роста смертности произошло его сокращение на 5—6 млн. человек, из них жертвы голода и связанных с ним эпидемией составили, по некоторым расчетам, около 1 млн. человек, в основном сельского населения. Последствия не замедлили сказаться на настроениях колхозников.

«На протяжении 1945—1946 гг. я очень близко столкнулся, изучил жизнь ряда колхозников Брянской и Смоленской областей. То, что я увидел, заставило меня обратиться к Вам, как к секретарю ЦК ВКП(б), — так начал свое письмо, адресованное Г.М. Маленкову, слушатель Смоленского военно-политического училища Н.М. Меньшиков. — Как коммунисту мне больно выслушивать от колхозников такой вопрос: «Не знаете, скоро ль распустят колхозы?». Свой вопрос, как правило, они мотивируют тем, что «жить так нет сил дальше». И действительно, жизнь в некоторых колхозах невыносимо плохая. Так, в колхозе «Новая жизнь» (Брянск, обл.) почти половина колхозников уже по 2—3 месяца не имеют хлеба, у части нет и картошки. Не лучше положение и в половине других колхозов района. Это присуще не только для этого района».

«Изучение положения дел на местах показывает, — шел аналогичный сигнал из Молдавии, — что голод охватывает все большее количество сельского населения... Необычайно высокий рост смертности, даже по сравнению с 1945 г., когда была эпидемия тифа. Основной причиной высокой смертности является дистрофия. Крестьяне большинства районов Молдавии употребляют в пищу различные недоброкачественные суррогаты, а также трупы павших животных. За последнее время имеются случаи людоедства... Среди населения распространяются эмигрантские настроения».

В 1946 г. произошло несколько заметных событий, так или иначе растревоживших общественную атмосферу. Вопреки достаточно распространенному суждению, что в тот период общественное мнение было исключительно молчаливым, действительные свидетельства говорят о том, что это утверждение не вполне справедливо. В конце 1945 г. — начале 1946 г. проходила кампания по выборам в Верховный Совет СССР, которые состоялись в феврале 1946 г. Как и следовало ожидать, на официальных собраниях люди в основном высказывались «за» выборы, безусловно поддерживая политику партии и ее руководителей. Как и раньше, на избирательных бюллетенях в день выборов можно было встретить здравицы в честь Сталина и других членов правительства. Но наряду с этим встречались суждения совершенно противоположного толка.

Вопреки официальной пропаганде, подчеркивающей демократический характер выборов, люди говорили о другом: «Государство напрасно тратит средства на выборы, все равно оно проведет тех, кого захочет»; «Все равно по-нашему не будет, они что напишут, за то и голосуют»; «У нас слишком много средств и энергии тратится на подготовку к выборам в Верховный Совет, а сущность сводится к простой формальности — оформлению заранее намеченного кандидата»; «Предстоящие выборы нам ничего не дадут, вот если бы они проводились, как в других странах, то это было бы другое дело»; «В избирательный бюллетень включают только одну кандидатуру, это нарушение демократии, так как при желании голосовать за другого, все равно будет избран указанный в бюллетене».

В народе по поводу выборов распространялись слухи, причем самые разные. Например, в Воронеже ходили разговоры: списки избирателей проверяются для того, чтобы выявить неработающих для посылки в колхозы. Люди закрывали свои квартиры и уходили из дома, чтобы не попасть в эти списки. В то же время за уклонение от выборов полагались специальные санкции; в высказываниях некоторых людей прочитывается прямое осуждение такого рода «палочной демократии»: «Выборы проводятся неверно, дается один кандидат на выборный район, а избирательный бюллетень контролируется каким-то особым способом. В случае нежелания голосовать за определенного кандидата, зачеркнуть нельзя, это будет известно НКВД и отправят куда следует»; «У нас в стране нет никакой свободы слова, если я сегодня что-нибудь скажу о недостатках в работе советских органов, то меня завтра же посадят в тюрьму».

Невозможность высказать открыто свою точку зрения, не опасаясь при этом санкций властей, рождала апатию, а вместе с ней субъективное отчуждение от властей: «Кому нужно, тот пусть и выбирает, и изучает эти законы (имеются в виду законы о выборах. — *Е.З.*), а нам и так все это надоело, выберут и без нас»; «Выбирать я не собираюсь и не буду. Я от этой власти ничего хорошего не видел. Коммунисты сами себя назначили, пусть они и выбирают».

В ходе обсуждения и разговоров люди высказывали сомнения в целесообразности и своевременности проведения выборов, на которые затрачивались большие средства, в то время как тысячи людей находились на грани голода: «О неубранном на полях хлебе не заботятся, а уже начали «звонить» о перевыборах правительства. Пользы от этого никому нет»; «Чем заниматься бездельем, они лучше накормили бы народ, а выборами не накормишь»; «Выбирают-то они хорошо, а вот хлеба в колхозах не дают».

Сильным катализатором роста недовольства была дестабилизация общей экономической ситуации, прежде всего ситуации на потребительском рынке, идущей еще

со времен войны, но в то же время имеющей и послевоенные причины. Последствия засухи 1946 г. ограничили объем товарной массы хлеба. Однако и без того тяжелое положение с продовольствием усугубилось из-за проведенного в сентябре 1946 г. повышения пайковых цен, т.е. цен на товары, распределяемые по карточкам. Одновременно сокращался контингент населения, охваченного карточной системой: численность снабжаемого населения, проживающего в сельской местности, с 27 млн. человек была сокращена до 4 млн., в городах и рабочих поселках с пайкового снабжения хлебом были сняты 3,5 млн. неработающих взрослых иждивенцев и 500 тыс. карточек уничтожилось за счет упорядочения карточной системы и ликвидации злоупотреблений. Всего расход хлеба по пайковому снабжению был сокращен на 30%.

В результате подобных мер были снижены не только возможности гарантированного снабжения людей основными продуктами питания (прежде всего хлебом), но и возможности приобретения продовольственных товаров на рынке, где цены быстро поползли вверх (особенно на хлеб, картофель овощи). Возросли масштабы спекуляции хлебом. В ряде мест дело доходило до открытого выражения протеста. Наиболее болезненно известие о повышении пайковых цен встретили низкооплачиваемые и многодетные рабочие, женщины, потерявшие мужей на фронте: «Питание обходится дорого, а семья из пяти человек. Семье денег не хватает. Ждали, будет лучше, а теперь опять трудности, да когда же мы их переживем?»; «Как пережить трудности, когда не хватает денег на то, чтобы выкупить хлеб?»; «От продуктов придется или отказаться, или выкупать их на какие-то другие средства, о покупке одежды нечего и думать»; «Раньше мне было тяжело, но я имела надежду на продкарточки с низкими ценами, теперь и последняя надежда пропала и мне придется голодать».

Еще более откровенными были разговоры в очередях за хлебом: «Нужно теперь больше воровать, иначе не проживешь»; «Новая комедия — зарплату повысили на 100 рублей, а цены на продукты повысили в три раза. Сделали так, чтобы выгодно было не рабочим, а правительству»; «Мужей и сыновей убили, а нам вместо облегчения повысили цены»; «С окончанием войны ждали улучшения положения и дождались улучшения, сейчас стало жить труднее, чем в годы войны».

Обращает на себя внимание непритязательность желаний людей, требующих всего лишь установления прожиточного минимума и ничего сверх того. Мечты военных лет о том, что после войны «всего будет много», наступит счастливая жизнь, начали довольно быстро приземляться, девальвироваться, а набор благ, входящих в «предел мечтаний», оскудел настолько, что зарплата, дающая возможность прокормить семью, и комната в коммунальной квартире уже считались подарком судьбы. Но миф о «жизни-сказке», живущий в обыденном сознании и, кстати, поддерживаемый мажорным тоном всей официальной пропаганды, любые трудности преподносящей как «временные», часто мешал адекватному осознанию причинно-следственных связей в цепи волнующих людей событий. Поэтому, не находя видимых причин для объяснения «временных» трудностей, которые попадали бы под категорию объективных, люди искали их в привычных чрезвычайных обстоятельствах. Выбор и здесь был не слишком широк, все трудности послевоенного времени объяснялись последствиями войны. Неудивительно, что осложнение ситуации внутри страны тоже связывалось в массовом сознании с фактором войны — теперь уже будущей. На собраниях часто звучали вопросы: «Будет ли война?», «Не вызвано ли повышение цен сложной международной обстановкой?». Некоторые высказывались и более категорично: «Настал конец мирной жизни, надвигается война вот и цены повысили. От нас это скрывают, а мы-то ведь разбираемся. Перед войной всегда цены повышают». Что касается слухов, то здесь народная фантазия вообще не знала границ: «Америка порвала мирный договор с Россией, скоро будет война. Говорят, что в город Симферополь доставили уже эшелоны с ранеными»; «Я слышал, что война идет уже в Китае и в Греции, куда вмешались Америка и Англия. Не сегодня-завтра нападут и на Советский Союз».

Война в народном сознании еще долго будет восприниматься как главное мерило трудностей жизни, а приговорка «только бы не было войны» — служить надежным оправданием всех лишений послевоенного времени, которым, кроме нее, не было уже никаких разумных объяснений. После того как мир переступил черту «холодной войны», эти настроения только усилились; они могли держаться под спудом, но при малейшей опасности или намеке на опасность сразу давали себя знать. Например, уже в 1950 г. во время войны в Корее активизировались панические настроения среди жителей Приморского края, которые посчитали, что раз поблизости идет война, значит, она не минует границ СССР. В результате из магазинов стали исчезать товары первой необходимости (спички, соль, мыло, керосин и др.): население создавало долговременные «военные» запасы.

Одни видели причину повышения пайковых цен осенью 1946 г. в приближении новой войны, другие считали подобное решение несправедливым по отношению к итогам войны прошедшей, по отношению к фронтовикам и их семьям, пережившим тяжелое время и имеющих право на нечто большее, чем полуголодное существование. Во многих высказываниях на этот счет нетрудно заметить и чувство оскорбленного достоинства победителей, и горькую иронию обманутых надежд: «Жизнь-то краше становится, веселее. На сто рублей зарплату увеличили, а 600 отняли. Довоевались, победители!»; «Ну, вот и дожили. Это называется забота о материальных нуждах трудящихся в четвертую сталинскую пятилетку. Теперь понятно нам, почему по этому вопросу собрания не проводят. Бунты будут, восстания, и рабочие скажут: «За что воевали?»».

Однако, несмотря на наличие весьма решительных настроений, на тот момент времени они не стали преобладающими: слишком сильной оказалась тяга к мирной жизни, слишком серьезной усталость от борьбы, в какой бы то ни было форме, слишком велико было стремление освободиться от экстремальности и связанных с ней резких поступков. Кроме того, несмотря на скепсис некоторых людей, большинство продолжали доверять руководству страны, верить, что оно действует во имя народного блага. Поэтому трудности, в том числе и те, что принес с собой продовольственный кризис 1946 г., чаще всего, если судить по отзывам, воспринимались современниками как неизбежные и когда-нибудь преодолимые. Достаточно типичными были высказывания вроде следующих: «Хотя и трудно будет жить низкооплачиваемым рабочим, но наше правительство, партия никогда ничего плохого для рабочего класса не делали»; «Мы вышли победителями из войны, окончившейся год тому назад. Война принесла большие разрушения и жизнь не может сразу войти в нормальные рамки. Наша задача — понять проводимые мероприятия Совета Министров СССР и поддержать его»; «Мы верим, что партия и правительство хорошо продумали проводимое мероприятие, с тем чтобы быстрее ликвидировать временные трудности. Мы верили партии, когда под ее руководством боролись за Советскую власть, верим и теперь, что проводимое мероприятие временное...»

Обращает на себя внимание мотивировка негативных и «одобрительных» настроений: первые опираются на реальное положение вещей, вторые же идут исключительно от веры в справедливость руководства, которое «никогда ничего плохого для рабочего класса не делало». Можно определенно утверждать, что политика верхов первых послевоенных лет строилась исключительно на кредите доверия со стороны народа, который после войны был достаточно высок. С одной стороны, использование этого кредита позволило руководству стабилизировать со временем послевоенную ситуацию и в целом обеспечить переход страны от состояния войны к состоянию мира. Но с другой стороны, доверие народа к высшему руководству дало возможность последнему оттянуть решение жизненно важных реформ, а впоследствии фактически заблокировать тенденцию демократического обновления общества.

## § 5. Политика центра и возможности ее трансформации

В 1946 г. закончила работу комиссия по подготовке проекта новой Конституции СССР. В проекте, выдержанном в общем и целом в рамках довоенной политической доктрины, вместе с тем содержался ряд прогрессивных положений, особенно в плане развития прав и свобод личности, демократических начал в общественной жизни. Признавая государственную собственность господствующей формой собственности в СССР, проект Конституции допускал существование мелкого частного хозяйства крестьян и кустарей, «основанного на личном труде и исключая эксплуатацию чужого труда». В предложениях и откликах на проект Конституции (он был разослан специальным порядком в республики и наркоматы) звучали идеи о необходимости децентрализации экономической жизни, предоставлении больших хозяйственных прав на местах и непосредственно наркоматам. Поступали предложения о ликвидации специальных судов военного времени (прежде всего, так называемых «линейных судов» на транспорте), а также военных трибуналов. И хотя подобные предложения были отнесены редакционной комиссией к категории нецелесообразных (причина: излишняя детализация проекта), их выдвижение можно считать вполне симптоматичным.

Аналогичные по направленности идеи высказывались и в ходе обсуждения проекта Программы ВКП(б), работа над которым завершилась в 1947 г. Эти идеи концентрировались в предложениях по расширению внутрипартийной демократии, освобождению партии от функций хозяйственного управления, разработке принципов ротации кадров и др. Поскольку ни проект Конституции СССР, ни проект Программы ВКП(б) не были опубликованы и обсуждение их велось в относительно узком кругу ответственных работников, появление именно в этой среде достаточно либеральных по тому времени идей свидетельствует о новых настроениях части советских руководителей.

Правда, во многом это были действительно новые люди, пришедшие на свои посты перед войной, во время войны или год-два спустя после победы. Условия военного времени диктовали особую кадровую политику — ставка на людей смелых, инициативных и главное высокопрофессиональных. Их знания, опыт, способность к риску создавали благоприятную почву для развития и вполне радикальных настроений. Однако не стоит переоценивать степень данного радикализма, который был ограничен, в сущности для всех, восприятием действительности вне критики существующей системы как таковой. Все разногласия внутри правящего центра сводились поэтому не столько к выбору концепции развития (она определялась господствующей доктриной и не подлежала обсуждению), сколько к определению условий реализации этой концепции — более «жестких» или более «мягких».

Возможности трансформации режима в сторону какой бы то ни было либерализации были весьма ограничены из-за крайнего консерватизма идеологических принципов, благодаря устойчивости которых охранительная линия имела безусловный приоритет. Теоретической основой «жесткого» курса в сфере идеологии можно считать принятое в августе 1946 г. постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», которое, хотя и касалось области художественного творчества, фактически было направлено против общественного инакомыслия как такового.

Однако одной только «теорией» дело не ограничилось. В марте 1947 г. по предложению А.А. Жданова было принято постановление ЦК ВКП(б) «О судах чести в министерствах СССР и центральных ведомствах», согласно которому создавались особые выборные органы «для борьбы с проступками, роняющими честь и достоинство советского работника». Одним из самых громких дел, прошедших через «суд чести», было дело профессоров Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскина (июнь 1947 г.), авторов научной работы «Пути биотерапии рака», которые были обвинены в антипатриотизме и сотрудничестве с зарубежными фирмами. За подобные «прегрешения» в 1947 г. выносили пока еще общественный выговор (таковы были полномочия «судов чести»), но уже в этой превентивной кампании угадывались основные подходы будущей борьбы с космополитизмом.



Однако все эти меры на тот момент еще не успели оформиться в очередную кампанию против «врагов народа». Ситуация вообще не складывалась столь однозначно: в сентябре 1947 г., например, на совещании представителей коммунистических партий в Польше Г.М. Маленков, представлявший вместе с А.А. Ждановым советскую делегацию, высказался в том духе, что внутривластная обстановка в стране после войны коренным образом изменилась и «вся острота классовая борьба для СССР передвинулась теперь на международную арену». На том уровне подобное заявление могло расцениваться как позиция советского руководства в целом. Хотя на самом деле оно свидетельствовало скорее о неустойчивости данной позиции; окончательный выбор еще не был сделан.

О колебаниях руководства свидетельствует и тот факт, что сторонники самых крайних мер, «ястребы», как правило, не получали поддержки. Известно, например, что Л.З. Мехлис, ставший после войны министром Госконтроля, потребовал предоставить министерству право проводить окончательное следствие по различным хозяйственным нарушениям, а затем сразу, минуя прокуратуру, передавать дела на виновных в суд. Его предложение принято не было.

Поскольку путь прогрессивных изменений политического характера был заблокирован, сузившись до возможных (и то не очень серьезных) поправок на либерализацию, наиболее конструктивные идеи, появившиеся в первые послевоенные годы, касались не политики, а сферы экономики: Центральный Комитет ВКП(б) получил не одно письмо с интересными, подчас новаторскими мыслями на этот счет. Среди них есть примечательный документ 1946 г. — рукопись «Послевоенная отечественная экономика», принадлежащая С.Д. Александру (беспартийному, работавшему бухгалтером на одном из предприятий Московской области). Суть его предложений сводилась к следующему: 1) преобразование государственных предприятий в акционерные или паевые товарищества, в которых держателями акций выступают сами рабочие и служащие, а управляет полномочный выборный совет акционеров; 2) децентрализация снабжения предприятий сырьем и материалами путем создания районных и областных промснабов вместо снаббывов при наркоматах и главках; 3) отмена системы госзаготовок сельскохозяйственной продукции, предоставление колхозам и совхозам права свободной продажи на рынке; 4) реформа денежной системы с учетом золотого паритета; 5) ликвидация государственной торговли и передача ее функций торговым кооперативам и паевым товариществам.

Эти идеи можно рассматривать в качестве основ новой экономической модели, построенной на принципах рынка и частичного разгосударствления экономики, — весьма смелой и прогрессивной для того времени. Правда, идеям С.Д. Александра пришлось разделить участь других радикальных проектов: они были отнесены к категории «вредных» и списаны в «архив». Центр, несмотря на известные колебания, в принципиальных вопросах, касающихся основ построения экономической и политической моделей развития, сохранял стойкую приверженность прежнему курсу. Поэтому центр был восприимчив лишь к тем идеям, которые не затрагивали основ несущей конструкции, т.е. не покушались на исключительную роль государства в вопросах управления, финансового обеспечения, контроля и не противоречили главным постулатам идеологии. Добиться каких-либо позитивных сдвигов можно было только при соблюдении этих весьма жестких принципов.

Информация, хотя и весьма скудная, о жизни на Западе давала пищу для размышлений. Контраст уровней благосостояния между победителями и побежденными, между бывшими союзниками в сознании большинства наших соотечественников, как правило, не находил объяснений конструктивного характера и чаще всего фиксировался на уровне эмоциональной реакции, провоцируя чувство «попранной справедливости». Отсюда общая неудовлетворенность итогами войны и обида на союзников, которые, как казалось, одни ответственны не только за ухудшение международной обстановки

(инициирование «холодной войны»), но и повинны во внутренних трудностях. Подчас возникали сомнения — была ли минувшая война доведена «до победного конца?», а иногда можно было услышать и следующее: «Плохо сделали, что после взятия Берлина не разгромили «союзников». Надо было бы спустить их в Ла-Манш. И сейчас Америка не бряцала бы оружием».

Столь «простое» решение больших проблем — вполне в духе того времени. Точно так же, как и списывание своих трудностей на происки «враждебного окружения». Долговременная обработка умов приносила свои плоды, направляя народное недовольство в то русло, которое было нужно режиму. Когда же объяснений типа «враждебного окружения» не хватало, находились аргументы другого порядка — и не только из арсенала официальной идеологии, но и на уровне обыденного видения. Вот одно из типичных высказываний на этот счет: «Сейчас жить тяжело. Все обжираются, наедают животы, никто ничего не делает, сидят и только Сталина обманывают».

Представления о неких «темных силах», которые «обманывают Сталина», создавали особый психологический фон, который, и в этом парадокс, возникнув из противоречий сталинского режима, по сути из его (пусть не всегда осознанного) отрицания, в то же время мог быть использован для укрепления этого режима, для его стабилизации. Выведение Сталина за скобки критики спасало не просто имя вождя, но и сам режим, этим именем одушевленный. Такова была реальность: для миллионов современников Сталин выступал в роли последней надежды, самой надежной опоры. Казалось, не будь Сталина, жизнь рухнет. И чем сложнее становилась ситуация внутри страны, тем больше укреплялась особая роль Вождя. Обращает на себя внимание тот факт, что среди вопросов, заданных людьми на лекциях в течение 1948—1950 гг., на одном из первых мест те, что связаны с беспокойством за здоровье «товарища Сталина»: в 1949 г. он отметил свое 70-летие.

#### § 6. 1948 год и новая волна репрессий

1948 год положил конец послевоенным колебаниям руководства относительно выбора «мягкого» или «жесткого» курса. Представления о «монолитном единстве» общества и его абсолютной преданности Вождю, в общем верные на победный момент сорок пятого, чем дальше, тем больше превращались в иллюзию; в растущем отчуждении «верхов» и «низов» единственным звеном, скрепляющим этот политический конгломерат в видимое целое, был сам Сталин. Но и он, похоже, переоценил силу своего положения и способность концентрировать в себе волю и желания общества: не все соотечественники торопились демонстрировать «верноподданность» Вождю. Это Сталин знал. Но не знал, сколько их было — «не всех» — и насколько опасным, в том числе и для него лично, становилось начинающееся противостояние. До открытого протеста дело не доходило, но брожение умов было реальностью, которую подтверждали сводки о настроениях разных категорий населения.

Сохранять спокойствие духа руководству мешали события и за пределами страны. Вместе с началом «холодной войны» Сталин стал утрачивать позиции первого политика мира, которым он себя чувствовал после победы. Правда, в сфере его контроля оставалась Восточная Европа, народы (а точнее, правители) которой, казалось бы, уже начали строить свою жизнь по образу и подобию «старшего брата». Речь шла по сути об унификации внутренних режимов этих стран согласно советскому образцу, что и зафиксировали материалы первого заседания Информбюро 1947 г. Однако не всех восточноевропейских руководителей устраивало подобное подчиненное положение и силовое давление со стороны Советского Союза.

Кульминацией процесса роста разногласий между СССР и странами Восточной Европы стала советско-югославская встреча в Москве (февраль 1948 г.), после которой последовал разрыв между Сталиным и Тито. Для Сталина это было поражением.

Подобное стечение событий не могло не отразиться на внутренней жизни: «пропустив» оппозицию на международном уровне, Сталин не мог допустить теперь даже зародыша ее у себя в «доме». Последствия международного фиаско и обстановка «холодной войны» по-своему повлияли на развитие внутренней карательной кампании, придав ей внешнюю форму борьбы с западничеством, или, по терминологии тех лет, «низкопоклонством». В качестве носителей «инородного» начала были выбраны советские евреи («безродные космополиты»), в результате чего вся кампания получила дополнительную антисемитскую окраску. В ее печальной истории два наиболее известных процесса — дело Еврейского антифашистского комитета (1948—1952) и «дело врачей» (1953).

Между тем основная роль постепенно отводится идеологическим кампаниям, т.е. кампаниям борьбы с инакомыслием, выполняющим одновременно известную «профилактическую» функцию.

Роль «пробного камня» в истории борьбы с инакомыслием конца 40-х — начала 50-х гг. выполнили две кампании, одна из которых была организована вокруг журналов «Звезда» и «Ленинград», а другая — учебника Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии». Вся организация этой кампании свелась по сути к выступлению Жданова в духе «постановки задач» и постановлению ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», которое для всех идеологических работников становилось руководством к действию. «Объекту» в данном случае отводилась пассивная роль «принятия к сведению» спущенных сверху установок. Несколько иной сценарий был апробирован в отношении философов: здесь «объекту» была предоставлена известная свобода действий, видимость которой позволила придать кампании идеологического давления внешне привлекательную «демократическую» форму. Так в нашей политической практике возник особый феномен — «творческие дискуссии».

Во всей философской дискуссии изначально присутствовал любопытный нюанс: в качестве объекта нападения выступал не проштрафившийся чем-то автор, а, напротив, человек, чья книга незадолго перед этим была удостоена Сталинской премии. В декабре 1946 г. в адрес учебника Г.Ф. Александрова сделал серьезные замечания Сталин. Трудно сказать, попала книга в руки Сталина случайно или здесь имел место умысел, но в последующих кампаниях «замечания Сталина» станут уже необходимым атрибутом организации дискуссий. В случае с учебником Александрова по замечаниям Сталина было решено провести дискуссию, которая и состоялась в январе 1947 г. Но философы, не обладавшие еще опытом организации подобных кампаний, видимо, не оценили фактора политического значения, который наверху придавался философской дискуссии. ЦК остался недоволен и назначил повторную дискуссию, для которой уже был разработан специальный сценарий.

Нет необходимости пересказывать содержание дискуссии: не эта сторона дела была тогда решающей. Главный смысл дискуссии вокруг учебника Александрова сводился к тому, что в ходе ее была фактически отработана стандартная модель организации борьбы с инакомыслием и насаждения идеологического монизма. Форма дискуссии представлялась очень удобной — из-за своего внешнего демократизма и соответствия популярным лозунгам критики и самокритики. Внешне привлекательная оболочка сыграла роль политической ширмы, за которой разыгрывалось действие обратного свойства, где, как справедливо заметил философ Ю. Фурманов, «сила аргументов подменялась аргументом силы».

Учебник Александрова, посвященный проблемам западноевропейской философии, был, кроме того, удобной мишенью для апробации основных подходов объявленной тогда же борьбы с «низкопоклонством». Место признанных авторитетов классической философии предстояло занять новому «корифею» (что и было сделано), а сама философская мысль была отнесена к ведению Центрального Комитета партии, который помимо прочего становился руководящим центром общественных наук. Ученым

отводилась роль комментаторов и популяризаторов решений, принятых «теоретическим штабом» страны. Кто ошибался, должен был публично покаяться, что также соответствовало дискуссионному сценарию.

На этом уровне замысел Жданова, можно сказать, удался совершенно: философы сделали «правильные» выводы. Предстояло теперь отработать механизм трансляции принятых решений, т.е. направить дискуссию вниз для проработки и извлечения политических уроков. И это оказалось самым сложным — не только потому, что в силу абстрактности поднятых дискуссией проблем ее трудно было «привязать» к чему-либо конкретному (к проблемам производства, например), но и прежде всего из-за отсутствия профессионалов-«трансляторов». Поход против инакомыслия был уязвимым именно в этом, решающем, звене: люди, которым предстояло доводить политические решения до народа, сплошь и рядом оказывались некомпетентными, а то и просто элементарно неинформированными.

С этим фактом столкнулись уполномоченные ЦК, выезжающие с проверками состояния политико-пропагандистской работы на местах. Как свидетельствуют их докладные записки, немалая часть партийных агитаторов и пропагандистов (причем не только рядовых, но и руководителей отделов пропаганды и агитации райкомов) не имела элементарного представления о том, какие решения принимаются наверху, не знали, что происходит в стране, в мире. Приведем ответы на вопросы уполномоченных ЦК некоторых работников райкомов: «1. Что читаете из политической литературы? — Первый том товарища Сталина.

2. Что прочитали из этого тома? — Забыл, не могу вспомнить, не отвечу.

3. Что еще читаете? — О буржуазных теориях т. Александра читал.

4. О каких буржуазных теориях? — Кажется, об идеалистических.

5. Что читаете из художественной литературы? — Читаю «Ивана Грозного», это книга нашего писателя. Мне не нравится эта книга. О народе в ней говорится хорошо, а вот из буржуазии и капиталистов там нет ни одного хорошего человека. В этом году больше ничего не читал»; «1. Читали вы доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград»? — Нет, этого доклада я не читал.

2. Какими последними решениями ЦК ВКП(б) вы руководствуетесь в своей работе? — Не могу вам сейчас назвать.

3. Какие политические партии вы знаете в Англии? — Не помню.

4. Кто возглавляет правительство в Югославии? — Не помню, или в Югославии, или в Болгарии у правительства Тито».

На уровне рядовых агитаторов дело обстоит еще хуже: «1. Назовите высший орган власти в СССР. — Рабочий класс. ЦК? РКК? ВКП(б)?

2. Кем работает товарищ Сталин? — У него много должностей, не могу сказать.

3. Кто глава советского правительства? — Не знаю.

4. Кем работает товарищ Молотов? — Он ездит за границу.

5. Что происходит в Греции? — Банда воюет с рабочим классом».

Эти документы в силу своей выразительности не нуждаются в каких-либо дополнительных комментариях. Хотя в то время они, вероятно, были подробно проанализированы, потому что ЦК принимает ряд мер для исправления создавшейся ситуации. Первым делом взялись за укрепление системы партийных школ и курсов. В 1947 г. в стране насчитывалось около 60 тыс. политшкол, в них обучалось 800 тыс. человек. Всего за год количество школ увеличилось до 122 тыс., а число обучающихся в них достигло более 1,5 млн. человек. Также в два раза увеличилось число кружков, изучающих историю партии, с 45,5 тыс. в 1947 г. до 88 тыс. в 1948 г., соответственно выросло количество посещающих эти кружки — с 846 тыс. до 1,2 млн. человек.

Одновременно с мерами, направленными на укрепление идеологического фронта подготовленными кадрами, охранительная линия распространяла свое влияние на различные сферы науки и культуры. В августе 1948 г. сессия ВАСХНИЛ завершила

долголетнюю дискуссию биологов, в мае—августе 1950 г. прошла дискуссия по проблемам языкознания, а в конце 1951 г. — по проблемам политэкономии социализма.

Все эти дискуссии, как и философская, развивались по отработанному сценарию и были организованы сверху. Однако приписывать их полностью инициативе центра все же нельзя. Действительность была сложнее, а оттого драматичнее: проводя эти дискуссии, власти использовали и реальные тенденции, реальные стремления, существующие в духовной жизни послевоенных лет. Потребность широкого обсуждения проблем, рожденных войной, и вопросов послевоенного бытия тревожила мысли интеллигенции. Общественному мнению нужна была трибуна, чтобы обсудить эти наиболее важные вопросы: профессиональная дискуссия была вполне подходящим поводом для реализации такой потребности, не случайно почти все «отраслевые» дискуссии охватывали более широкий круг проблем, чем предусматривал первоначальный предмет обсуждения.

Дискуссии нуждались в прикрытии мощным авторитетом, который взял бы на себя функцию главного арбитра. Ход старый и апробированный: еще в 30-е гг. Сталин громил своих противников, используя авторитет «ленинского курса», истинность которого не могла быть подвергнута сомнению. Похожую позицию заняли Лысенко и его сторонники, выбрав для защиты своих позиций имя Мичурина. Однако ссылки на мичуринское учение, удобные для демонстрации патриотизма в условиях борьбы с «космополитизмом», не могли служить достаточно надежным щитом от научных доводов оппонентов. Для создания такого рода щита необходим был авторитет, чье мнение обсуждению не подлежит, поскольку всегда является «единственно правильным». В огромной стране таким мнением обладал только один человек — Сталин. Логика функционирования абсолютной власти предопределила дальнейший ход событий: у Сталина не было иного пути, как сделаться «великим философом», «великим экономистом», «великим языковедом» и т.д. Поскольку механизм борьбы с инакомыслием в качестве опорной конструкции предполагал высший авторитет, авторитет должен был произнести свое Слово. Слово авторитета становилось поворотным моментом дискуссии: вмешательство Сталина предопределило победу лысенковцев, дало «нужное» направление экономической дискуссии и дискуссии по проблемам языкознания.

События 1948—1952 гг. для многих наших соотечественников стали временем прозрения: с иллюзией о том, что сталинский режим способен к какой-либо трансформации либерального типа, пришлось расстаться окончательно. Конечно, кого-то могли ввести в заблуждение слова Сталина о необходимости покончить с монополизмом в науке, о борьбе с «каракчеевским режимом». Но тот, кто за словесной оболочкой умел распознавать сущность процесса, уже не мог обмануться фразой. Тем более что был опыт разгрома генетиков в 1948 г., тоже проходившего под флагом борьбы с «монополизмом». Однако вся дискуссионная кампания была рассчитана не на думающих, а на тех, кто привык, не рассуждая, «принимать к сведению». Последних было пока что большинство. Это большинство все и решало: общество, подготовленное психологически к кампании террора, в массе своей на удивление легковерно восприняло и версию о происках «безродных космополитов», и о «врачах-вредителях», не увлекаясь существом дискуссионных полемик, оно в то же время готово было осудить признанные «вредными» философские, биологические, экономические и какие угодно другие взгляды.

Состояние общественной атмосферы начала 50-х гг., думается, наиболее ярко передает массовая реакция на «дело врачей»: проблемы медицины, охраны здоровья, в отличие от далеких научных тем, затрагивают интересы каждого. «После сообщения ТАСС об аресте группы «врачей-вредителей», — вспоминал один из участников этого дела известный советский патологоанатом профессор Я.Л. Рапопорт, — в обывательской среде распространялись слухи, один нелепее другого, включая «достоверные» сведения о том, что во многих родильных домах умерщвлены новорожденные или что некий больной умер непосредственно после визита врача, тут же, естественно, арестованного и расстрелянного. Резко упало посещение поликлиник, пустовали аптеки».

Подобным образом нагнеталась атмосфера массовой истерии, а общество, доведенное до такого состояния, становится легко управляемым, — но на уровне эмоций. Оно способно разрушить, преодолеть все препятствия — подлинные, но чаще мнимые. К конструктивному действию такое общество не способно. Потому что это уже не общество в истинном смысле этого слова — это толпа. Для воздействия на общественный разум нужны более тонкие средства. Идеологическая обработка умов с помощью организованных дискуссий и должна была выполнить роль такого средства. Однако атмосфера массового психоза давила своей эмоциональной агрессивностью, подчиняя рациональное чувственному. В результате грань между откровенным террором и идеологическим диктатом часто становилась едва различимой, а угроза расправы — вполне реальная — заслоняла собой аргументы разума. Процесс был настолько тотальным, что публичные покаяния сделались нормой жизни. Не надо думать, что всеми владел только страх. Он, конечно, присутствовал, однако сильнее страха (во всяком случае весомее) было, думается, осознание отсутствия перспектив борьбы. Если считать, что, организуя дискуссии, власти добивались именно этого результата, то он был в конце концов достигнут.

#### § 7. Снижение цен и «великие стройки коммунизма»

Психологическое воздействие репрессий на общество, преследующее цель парализации коллективной способности к сопротивлению, основано тем не менее на принципе избирательности террора, каким бы масштабным тот ни был. Избирательный подход призван был заложить в массовое сознание идею «праведного гнева» и «справедливости» репрессивных мер. Формула «невиновных у нас не сажают», достаточно распространенная в бытовом обиходе тех лет, показывает, что идея эта попадала на вполне подготовленную почву. Нетерпение обывателя, поднятое до эмоционального горения нехватками послевоенного бытия, требовало немедленной разрядки. В таких условиях росла сила агрессивных эмоций, а объяснение причин житейских неурядиц сводилось по сути к ответу на вопрос «кто виноват?». Подобная реакция заложена в механизме поведения толпы, которая тяготеет к упрощенному поиску причинно-следственных связей, сводящегося к выявлению «крайнего». Этот известный стереотип массового поведения использовал Сталин, когда начал делить общество на «своих» и «врагов».

Массовое сознание, в принципе малоприспособленное в качестве носителя конструктивных политических решений, в данном случае сыграло роль психологического фона, на котором вся карательная кампания проходила под лозунгом «всемирной поддержки». Но могло ли так продолжаться долго? Террор, сопровождающийся нагнетанием экстремальности, всегда имеет психологический предел. «Общество, охваченное паническим настроением, — писал известный психолог Л.Н. Войтоловский, — не только утрачивает чуткость к дисгармониям общественной жизни (это как раз режиму было выгодно. — *Е.З.*), но... само становится источником угнетающих и тревожных эмоций, доводящих его до мертвящей немощи, забитости и апатии».

Подобный исход находился в прямом противоречии с принципами функционирования существующей государственной модели, рассчитанной на постоянное поддержание высокого тона общественной жизни. Если эта модель органично включала в себя механизм террора для исполнения охранительной функции, то с такой же необходимостью она нуждалась и в иных средствах своего жизнеобеспечения, призванных стимулировать духовный подъем, ударный ритм, трудовой энтузиазм. С помощью террора удавалось отвлечь внимание людей от анализа истинных причин общественного неблагополучия, отправив их по ложному следу поиска «врагов». Однако негативная реакция таким образом не исчезала, она просто переключалась на другой объект. Поэтому нужны были специальные меры, способные сформировать в массах

позитивные эмоции, стимулировать созидательные устремления и действия. Такого рода меры создают и поддерживают авторитет власти. Их отличительная особенность состоит в том, что целесообразность решений этого типа измеряется не столько долей практической отдачи (например, экономической эффективностью), сколько степенью популярности в массах, т.е. эти меры, какое бы конкретное содержание в них ни вкладывалось, по сути своей всегда являются популистскими. В ряду подобных популистских решений на первом месте всегда стоит снижение цен. Поэтому в 1947 г. Сталин выбрал именно этот, в общем политически беспроигрышный (если смотреть с точки зрения момента), путь.

С 1947 по 1954 г. было проведено семь снижений розничных цен (первое — вместе с денежной реформой). Тактический ход принес огромный стратегический выигрыш: по сей день послевоенные снижения цен используются неосталинистами как главный аргумент в борьбе против оппонентов, как свидетельство постоянной заботы Сталина о «благее» народа. Расчеты специалистов, показывающие, что с экономической точки зрения все эти снижения цен оказались несостоятельными, просто не принимаются во внимание. Сам этот факт может послужить еще одним доказательством не экономической, а идеологической природы решений о ценах, они воздействовали не на разум, а на эмоции людей. Возможно поэтому их защита сегодня происходит исключительно на эмоциональном уровне. А как реагировали на снижение цен современники?

В большинстве своем исключительно положительно, что вполне естественно. Но были случаи отдельных выступлений с критикой. «Из-за такого небольшого снижения цен не нужно поднимать столько шума, — рассуждал один ленинградец после очередного снижения 1949 г. — Это снижение цен имеет лишь агитационный характер».

Несмотря на приоритет политических целей, решения о снижении цен, как и любая мера, вторгающаяся в сферу хозяйственной жизни, не могли остаться без экономических последствий. Снижение цен, естественно, привело к увеличению спроса, причем, в первую очередь, на те группы товаров, которых оно коснулось в наибольшей степени, т.е. в основном на промышленную группу. Согласно данным обследования, проведенного в 40 крупнейших городах страны, в марте 1949 г. после снижения цен среднесуточная продажа мяса увеличилась в среднем на 13%, масла сливочного и сала — почти на 30%, тогда как по некоторым промышленным товарам этот прирост распределился следующим образом: продажа патефонов в марте по сравнению с февралем выросла в 4,5 раза, во столько же раз увеличилась продажа велосипедов и в 2 раза часов.

Рост спроса рождал сомнения: хватит ли товаров для продажи по новым ценам? Поскольку же снижение цен мало затрагивало товары первой необходимости, естественно, возникали вопросы: «почему недостаточно снижены цены на хлеб, муку, растительное масло?»; «почему не снижены цены на сахар, мыло, керосин?». Можно спорить о том, насколько эти претензии обоснованны в каждом конкретном случае, но, сформулированные в виде вопросов, требования людей представляют интерес с другой стороны: они показывают, как политика, рассчитанная на обретение имиджа «заботы о благе народа», начинает работать во вред сама себе. В людях постепенно формируется привыкание к такого рода «благодеяниям», растет комплекс иждивенчества, а по мере удовлетворения первейших потребностей растут и запросы. Поскольку акция снижения цен спускалась сверху и конкретный человек долей своего труда напрямую никак не был с ней связан (может быть, только ограничен в своих претензиях уровнем зарплаты), ему в сущности было безразлично, из какого источника эта акция обеспечивалась. Сам же источник — государственная казна — реагировал на эту акцию болезненно, потому что именно она меньше всего напоминала «рог изобилия». Приняв волевое решение о регулярном снижении цен, центр затянул себя в ловушку: угроза прогрессирующей инфляции стала реальностью. По логике надо было отказаться от этой практики, но тогда мог пострадать престиж государственной власти. Решение продолжало сохранять силу по инерции, а люди по той же инерции продолжали каждый год ждать нового снижения цен.

Решения о снижении цен не затрагивали трудовых стимулов. Вообще в послевоенный период сфера действия материальных стимулов была существенно ограничена. Безусловно, сказывались последствия войны: жесткая финансовая дисциплина и ограниченность ресурсов устанавливали различного рода «потолки», в том числе и по заработной плате. Поэтому трудовой подъем, духовный пафос восстановления — несомненная реальность послевоенных лет — имели иной, нежели материальный интерес, источник вдохновения. Недостаточность материальных стимулов компенсировалась действием психологических и идеологических факторов. Принцип работы этой группы стимулов в основе своей опирался на «эффект большой цели». Так было во время войны, когда люди сражались и работали во имя одной, общей и великой цели — Победы. В мае сорок пятого цель была достигнута. Образовавшийся вакуум надо было чем-то заполнить. Наверху, видимо, не нашли ничего лучшего, как вновь сделать ставку на образ будущего — построение коммунизма. В проекте Программы ВКП(б) 1947 г. было записано: «Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) ставит своей целью в течение ближайших 20—30 лет построить в СССР коммунистическое общество».

Однако преимущество победы в ее имидже «большой цели» заключалось не только в ее огромной притягательности, но и сама эта притягательность была связана с максимальной конкретностью: с каждым взятым городом, освобожденной деревней эта цель из идеальной все более становилась реально достижимой. Идее построения коммунизма необходимо было придать такую же конкретность. Так в общественное сознание был внесен своеобразный символ будущего — «великие стройки коммунизма». Гидроэлектростанции на Дону, Волге, Днепре, Волго-Донской и Туркменский каналы... Для них, этих строек, варились сталь и чугун, создавались новые конструкции машин и механизмов. Пуск каждой очереди «великих строек», осуществление «великого плана преобразования природы» и даже начало строительства высотных зданий в Москве должны были восприниматься как очередная веха, как еще один практический шаг на пути к коммунизму. То обстоятельство, что «стройки коммунизма» большей частью сооружались руками заключенных, мало тревожило идеологов страны. Многие соотечественники об этом просто не знали, а те, кто знал, обязаны были смотреть на эти стройки как на места «перековки» и «перевоспитания» людей в духе коммунизма.

Отличительная особенность советской системы 30—50-х гг. состояла в том, что формально она как будто бы всегда была открыта для критики (лозунг «критики и самокритики» был в числе наиболее употребимых официальной пропагандой). И это был не просто пропагандистский трюк: постоянные поиски «отдельных недостатков», чередуемые с временными кампаниями против «врагов народа», не только направляли общественные эмоции в подготовленное русло, но и повышали мобилизационные возможности самой системы, ее устойчивость, ее иммунитет. На основе манипуляции общественными настроениями создавался особый механизм преодоления кризисных ситуаций. Система не допускала такого развития событий, когда критически заряженные эмоции масс сформируются в блок конкретных претензий, задевающих основы правящего режима. Неудивительно поэтому, что отсутствие конструктивизма, набора положительных идеи составляет одну из характерных черт групповых претензий этого периода. Умение режима овладевать общественными настроениями на уровне эмоций обеспечивало управляемость системы, страховало от непредсказуемых реакций снизу. С этой своей функцией механизм контроля за умонастроениями справлялся достаточно успешно. Однако, добываясь управления эмоциями, с помощью этого механизма не всегда удавалось обеспечивать программу позитивного поведения, т.е. нужную практическую отдачу.

Это хорошо видно на примере развития внутрипартийной политики. XIX съезд ВКП(б), состоявшийся в 1952 г., среди прочих решений внес ряд изменений в Устав партии, т.е. тот документ, который регламентирует поведение каждого коммуниста. Главный смысл тех изменений заключался в усилении контроля партийных органов над



рядовыми членами партии: если раньше коммунист «имел право», то теперь он «был обязан» сообщать о всех недостатках в работе любых лиц, а сокрытие правды объявлялось «преступлением перед партией». В партии начался поход против «недостатков». Однако организованный в столь жестких условиях, поход этот на деле превратился в последовательную цепочку перекалывания вины на плечи нижестоящего. Местные партийные работники, опасаясь быть уличенными в недостаточной бдительности или «преступной бездеятельности», стремились перестраховаться: районные комитеты партии буквально захлестнул поток персональных дел. Даже «Правда» с тревогой сообщала о многочисленных фактах проявления подобного чрезмерного усердия.

Это был предел: механизм контроля из фактора, обеспечивающего системе устойчивость, грозил превратиться в фактор дестабилизирующего действия. Если что и помешало тогда дальнейшей эскалации ситуации, то это сопротивление снизу, где помимо законов системы продолжали действовать, несмотря ни на что, законы человеческие. Они часто решали судьбы людей.

Историк Ю.П. Шарапов вспоминает, как осенью 1949 г., когда он учился в аспирантуре МГУ, у него был повторно арестован отец: «Меня вызвали в партком, а затем на факультетское партсоборание... Мне грозило исключение из партии. Но когда это было сказано вслух, из последних рядов поднялся мой довоенный однокурсник, тоже аспирант, прошедший войну, вышел на трибуну и сказал слово в мою защиту... А потом было заседание Краснопресненского бюро райкома партии. Меня защищали двое — секретарь партбюро факультета Павел Волобуев и член бюро райкома, начальник окружной дороги, железнодорожный генерал Карпов. И бюро райкома оставило меня в партии».

Случай, о котором рассказал Ю.П. Шарапов, в практике работы партбюро исторического факультета МГУ, когда его возглавлял П.В. Волобуев (ныне академик РАН), был не единичным, хотя не всегда позицию секретаря поддерживало большинство. Тем не менее, используя особое положение партийной организации при решении кадровых вопросов, даже в тех условиях обостренной «бдительности» удавалось оказывать помощь людям достойным и способным, но имеющим определенные трудности с «анкетой» (детям репрессированных родителей, побывавшим в плену или на оккупированной территории и т.п.). «Я просто выступал против всяких крайностей, — вспоминает то время П.В. Волобуев. — Например, крайностей в борьбе с космополитизмом. Нет, что касается трескотни насчет космополитизма, в том числе и в моих докладах, она продолжалась. Но ни один человек с факультета уже не был уволен, хотя и существовали своего рода «черные списки». Время не бывает одноцветным: кто-то, рискуя карьерой (а иногда и головой), вступался за близкого или вовсе незнакомого человека, кто-то публично отказывался от родителей, учителей, наставников. Возможно, пространство выбора было тогда небольшим, но способность к нравственному сопротивлению сохраняется всегда — при любых обстоятельствах и при любых режимах. Тем более что уже была война, оставившая в наследство законы фронтового братства и взаимной выручки. Это тоже помогало жить. И выжить.

Самые мрачные — из всех послевоенных — годы заканчивались если не надеждой, то предчувствием какого-то просвета. В реальной жизни, казалось бы, ничто не свидетельствовало о грядущих переменах. Но они уже были в известном смысле запрограммированы: был жив Вождь, но больной и все больше дряхлеющий, он не мог, как раньше, контролировать поведение своего окружения, в котором началось размежевание, предопределившее последующую расстановку сил в борьбе за «наследство». Экономические решения, принятые после войны, загоняли страну в тупик сверхпрограмм: «великие стройки» ложились тяжелым бременем на государственный бюджет. Основу экономической политики определял старый курс на индустриализацию. Он не только оставил безусловными приоритеты тяжелой промышленности, но и фактически законсервировал развитие научно-технического прогресса. Социальные программы, особенно важные с точки зрения помощи вышедшему из войны народу, были

сведены до минимума. Кампании по снижению цен имели большой политический эффект, но уровень жизни людей изменили мало.

Деревня была поставлена на грань разорения. Зона подневольного труда, рассредоточенная между колхозной деревней, с одной стороны, и ГУЛАГом — с другой, создавала постоянный источник социальной напряженности.

Репрессии 1948—1952 гг. не уничтожили дестабилизирующий фактор, репрессивная политика спасла на время правящий режим от критического давления снизу, но она не смогла предотвратить сползание страны к кризисной черте. Более того, репрессии осложнили процесс преодоления кризисных явлений, поскольку уничтожили или серьезно деформировали рожденные войной конструктивные общественные силы, которые могли встать во главе процесса обновления общества. Для массовых настроений был характерен синдром ожидания. Единственный путь преодоления кризисных явлений, на развитие которого можно было рассчитывать в этих условиях, был путь реформ сверху. А единственным барьером, стоящим на этом пути, была фигура Вождя. В этом смысле Сталин был обречен, хотя на деле ситуация разрешилась самым естественным образом. Это случилось 5 марта 1953 г.